

ЛЮДМИЛА
САДОВНИКОВА

ЛЮДМИЛА
САДОВНИКОВА

МАТЬ-И- МАЧЕХА

РОМАН



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С14

Дизайн Елизаветы Корсаковой

В оформлении обложки использованы фотографии
Лёли Собениной

Садовникова, Людмила.

С14 **Мать-и-мачеха: [роман] / Людмила Садовникова. —**
Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной,
2026. — 717, [3] с. — (Большая проза).

ISBN 978-5-17-184843-9

Людмила Садовникова родилась и выросла в Нижнем Тагиле. Филолог, исследовательница поэзии первых лет СССР, коллекционер-любитель, начинающий книговед. Дебютный роман Садовниковой основан на истории ее семьи, коренных уральцев. Время — 1920–60-е. Книгу можно назвать и романом-притчей об эпохе, и семейной сагой с элементами магического реализма, и психологическим романом.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Садовникова Л., 2026
© Собенина Л., 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

ISBN 978-5-17-184843-9

Оглавление

Хоровод цветочка обыкновенного	9
История первая. ДВАДЦАТЫЕ	14
История вторая. ТРИДЦАТЫЕ	30
История третья. Сороковые	191
История четвертая. Пятидесятые	380
История пятая. Шестидесятые	555

Посвящается родным гробам,
домашним пирогам
и той доле нежности,
которую каждый из нас
так и не смог потратить.

Хоровод цветочка обыкновенного

Вы, цветы ли мои, цветики,
Вы, цветы мои лазоревы,
Вас посеяно немножечко.

Вас посеяно немножечко, —
Уродилось дивнешенько,
У родимого у тятеньки.

Уродилось дивнешенько,
У родимого у тятеньки,
У родимой-то у маменьки.

Из уральской народной песни

Если вздохнуть всем народом —
ветер будет.

Советская пословица

«Мать-и-мачеха — это гвоздика для бедных», — говорила бабка Дарья, вторая жена Веркиного деда, зачем-то при этом кокетливо пощипывая край темной старушечьей юбки в мелкий блеклый горошек, важно покачивая головой и голосом. Первая его жена, лучшая висимоуткинская швея, повесилась. Чуть ли не на следующий день после ее смерти привел дед в дом полюбовницу, эту вот Дарью, поставил перед ней только что осиротевших четверых детей: «Вот вам новая мать!»

В деревне поговаривали, что с полюбовницей он познакомился, еще когда она пришла к той самой первой жене за новым платьем. Пошитым платьем осталась Дарья довольна. Как, впрочем, и мужем швейки, Иваном Уткиным, красивым, крепким мужиком. Поговаривали, что и повесилась

Веркина бабушка как раз из-за разлучницы, не в силах вынести не столько измену, сколько зуботычины охладевшего к ней мужа. Иногда поговаривали даже, что не сама повесилась бедная баба, а муж удавил опостылевшую вожжами в сарайке. Сама ли повесилась Веркина бабушка, заставили ее согрешить смертным грехом или убили — в любом случае было неважно. Все равно свою родную бабушку Верка ни разу в жизни не видела, называя бабкой старую Дарью. Та же, настоящая бабушка, родная, но совсем незнакомая, умерла настолько задолго до рождения внучки, что даже имя первой жены Ивана Уткина стерло время, и через сто лет в семье помнилось только имя второй, никому не родной по крови.

Дарье, бабе бездетной, на момент удачного, а главное, первого (и единственного) брака исполнилось уже пятьдесят. Пока не состарилась, работала горничной у местных, по большей части у одиноких мужчин-господ, что «поважнее», работала даже в семьях «в городе», то есть в Нижнем Тагиле, угождая хозяевам, то есть опять же мужчинам. Но об этом изредка вспоминали лишь злоязычные соседки и никогда не вспоминали в Веркиной семье.

Разве что по выходным и праздникам, уже гораздо после смерти своего старика, выпив с Матреной самогона больше, чем обычно, бабка Дарья, отсырев, рассиропившись, открывала стоявший рядом с ее постелью сундук и начинала хвастаться, доставая из него, одну за другой, слежавшиеся за сорок-пятьдесят лет, пахнущие нафталином, но до сих пор крепкие и интересные вещи: «А вот эту горжетку мне Степан Лександрыч подарил, видный был мушкетер, хоть и в годах. А вот этот отрез — Иван Васильич, любил он, помню, в чай завсегда рюмочку ерофеича, хи-хи, добавить. Меня заставит сесть с ним за стол чаек погонять, ну и мне настоячки в чашку. Двойную порцию. Не жадный был. То ткани на платье даст, то шаль, а в день ангела и сахарную голову выдаст. Ты, Даренка, говорит, сама вся как сахар. И за щечку ущипнет. А вот это... — Дарья вытаскивала откуда-то снизу,

из-под тряпок, из-под когда-то модных ботильонов с перламутровыми пуговками, завернутых в отдельную холстину, из-под жестянок с чайной заваркой и с леденцами — при стуке их Верка сглатывала мгновенно набегавшую слюну, — шкатулку купоросного стекла и торжественно выуживала из нее тяжелые малахитовые бусы и колечко, сверкавшее ярким аметистовым камушком. — А вот этим меня сам Пантелеймон Петрович одарил! Ты, говорит, Дашка, еще дороже стоишь! Целуй, говорит, ручку в благодарность!»

Пьяная бабка раскладывала на коленях отрез ярко-красного, вырвиглаз, шелка, потемневшего, впрочем, от пыли по сгибам, пристраивала на сморщенной шее богатые бусы, перекидывала через плечо богатую песцовую горжетку, с трудом надевала на кривоватый, сморщенный, как у му-мии, палец колечко с аметистом. Матрена протягивала было руку — погладить темную полоску на меховой спинке, но Дарья отталкивала ее жирные от селедки, воняющие луком пальцы: «Убери, я тебе говорю! Не твое — не лезь». Та покорно наливала бабке полный стакан, сама же продолжала жадно общипывать взглядом каждый малахитовый шарик, каждый серебристый песцовый волосок...

«Может быть, бабке Дарье там, в горничных, кто-то и гвоздику подарил?» — думала каждый раз, срывая очередной желтый цветок, Верка, которая, впрочем, ни разу в жизни этой загадочной гвоздики не видела.

Мать-и-мачеха Верке нравилась: и своим горьковатым маленьким цветочком, и кургузым, маленьким же, как Веркина жизнь, стебельком. И сама Верка была рыжей и конопатой, чисто желтый цветик упрямый. И почему в деревенской прозе дети всегда рыжие и конопатые? В крайнем случае белобрысые и обязательно со щербинкой между передними зубами. Смех смехом, но Верка действительно собрала все самое яркое от классической героини деревенской прозы: и щербинку, и рыжину.

Это потом каждый мог заметить даже на черно-белых фотографиях ее молодости. Детских снимков не сохрани-

лось, то есть их совсем не случилось, а вот на «девичьей», то ли сорок шестого года, то ли сорок восьмого (где Верка сидит с деревенской подругой в деревенской траве, возможно, даже с пучком деревенских ромашек сбоку), нельзя не разглядеть, что Веркины лицо и руки — все в конопушках, а волосы слегка вьются — по-особенному, как они вьются часто у рыжих и рыжеватых, непонятно даже, как точнее сказать, просто... ну, просто вьются, как у рыжих.

Рыжина вышла наследственной, хотя время потихоньку вымывало ее из кожи и волос потомков, как золото из руды: волосы Нади, Веркиной дочери, были уже просто русыми, хоть и переливались золотисто на солнце, будто свет, попавший в летнюю бегучую воду. Зато все плечи и спина остались испещрены веснушками, как неудачное яблочко — коричневыми пятнышками. У Любочки, Веркиной внучки, волосы оказались уже обычного, как у многих коренных местных, незаметного мышиного цвета, веснушки же появлялись только летом и на носу. Правда, после сорока начали обнаруживаться понемногу и на груди, и на спине, и на руках, и, глядя в зеркало, по ним Любочка узнавала в себе бабушкину внучку.

...Летом две тысячи двадцать первого, в очередной раз наслушавшись материнских историй (Верка — она же баба Вера — к тому времени уже умерла), Люба добралась-таки до Висимо-Уткинска — просто посмотреть.

Увидела и реку с диловатым названием Межевая Утка, и почти фанерные, игрушечные, наивные, отражающие сами себя в реке облака, и лес, стоящий вокруг деревни классической, той самой — темной! — стеной, и, среди новых и скучных, дома пожитые, с резными, несколько покосившимися воротами, кое-где настолько старыми, почерневшими, что они, как и любая дряхлость вещей, вызывали одновременно и восторг, и легкое животное отвращение; увидела это все — и совершенно не узнала, хотя и ощутила что-то нутряное — *родовое?* — в животе, в груди, в горле, не столько

чувство, сколько почти физическое ощущение: не она сама здесь побывала когда-то, а:

забытая в чьей-то машине ее куртка, проехавшая через Висимо-Утку;

ее кот, до встречи с Любочкой гулявший сам по себе — возможно, что и по здешним огородам;

не дочитанная ею книга, оставленная в маршрутке и найденная кем-то, оказавшимся потом, конечно, именно здесь, на соседней улице, —

то есть все то, что Любой назвать никак нельзя, но что неопостижимым образом навсегда останется ее частью.

История первая

ДВАДЦАТЫЕ

Если б я была голубка,
Если б я была сизая,
Эх, да сизая.

Легки крылышки бы имела,
Крылышки бы имела, да,
Эх, да имела.

Я бы к Ленину полетела,
К Ленину полетела бы,
Полетела бы.

Все ему бы рассказала,
Рассказала про горюшко,
Рассказала бы.

Из уральской народной песни

Нет земли краше, чем Родина наша.
Советская пословица

Матрена печь пироги не любила. Ставить тесто и ждать, пока дойдет. Ждать Матрена тоже не любила. И вдвойне не любила, что ожиданием работа не заканчивалась. Одно покроши, второе покроши, третье потри, первое потуши, перемешай со вторым, мороки-то сколько! Потом раскатывай тесто, как будто больше тебе в жизни заняться нечем. И непонятно, как раскатать так, чтоб вышло, как мама учила: тонкое, но не рвется; пышное, но, не дай бог, не толстое; мукой стол посыпать, но не настолько густо, как снега за окном в январе бывает. Морока же, морока. Начинку разложи, да и не много, и не мало, и про лук не забудь, и не пере-

соли, и не недосоли, и умасли начинку — чтобы среди капусты сияли и быстро исчезали масляные растекающиеся звездочки, и сметаной сдобри, если есть, — для сочности и запаха. Потом защипать. Правильный пирог — размером с противень, и не тот, где нижний слой теста с начинкой закрывается верхней тестяной крышкой, а тот, где тесто изначально раскатала повариха так, что одного тестяного полотна хватит на все: боковинами закрываешь верх, защипываешь пирог посередине, чтобы все видели — так раскатано, что и тонко, и не рвется, ох уж это опять «не рвется».

Ставишь в печь. И опять следи, точнее, и следи, и другие дела успевай поделывать. Не пересуши, но и сырым внутри из печи не вытащи, не сожги, однако и помни, что белые края, не говоря уж про испод пирога, выходят только у плохой хозяйки. Сами знаете: *без горячего пирожка не будет у девушки милого дружка, у бабы и мужика не будет, кто ж тебя, ленивую, полюбит?* Хотя, может, вовсе и не о пирогах так говорят. В общем, если не уследишь за печевом, от матери пару ласковых получишь (хоть и не злой была Матренина мать, однако сильно не любила, когда еда впустую уходит), и сестры — пискли, от горшка два вершка, а все туда же! — смеяться будут. И ведь получала Матрена от матери не раз — и леща, и по щечке нерумяной. А все равно не могла сделать так, как должно, как ни старалась.

После она долго злилась: все вот могла, но не эти клятые пироги. Летним вечером выходила на улицу, садилась у дома и разглядывала, злясь, закатные облака: они отражались в ее глазах, как пирожки — поджаристые ровнехонькие, пухлобокие. И Матрена злилась еще больше.

Зато мать ее, Сонька Углова, своими пирогами славилась по всей Висимо-Утке. Муж посмеивался, что только за пироги ее замуж и взял. Тесто у Соньки поднималось, как ни у кого, корочка выпекалась румяная, будто то ли рассвет, то ли закат — в общем, красиво, а уж вкусные какие выходили! С трех уж до отпуза сыт, а все равно рука сама в рот еще один тянет.